

# МЁРТВАЯ ЦЕЛЬ

НЕКОТОРЫЕ МЁРТВЫЕ ЦЕЛИ — ЕДИНСТВЕННЫЕ ЖИВЫЕ ЛЮДИ В ТВОЕЙ ЖИЗНИ



+18

NATASHA KLEIMAN

AI  
GENERATED

Natasha Kleiman

**Мёртвая цель**

«Автор»

2026

## **Kleiman N.**

Мёртвая цель / N. Kleiman — «Автор», 2026

Её зовут Нэт. Хотя на самом деле — не зовут никак. Кукольное лицо. Ледяные глаза. Безупречный послужной список. Тринадцать заказов — тринадцать трупов. Ни одного провала. Ни одной слабости. По крайней мере, так она думает. Новый заказ должен был стать рутинной. Сложной, дорогой, опасной — но рутинной. Найти. Выследить. Устранить. Забрать деньги. Исчезнуть. Она всё сделала правильно. Каждый шаг — идеален. Каждая пуля — в цель. Но цель не умерла. А потом охотник стал добычей. Теперь Нэт заперта между человеком, которого невозможно убить, и прошлым, от которого невозможно сбежать. Он знает о ней то, чего не знает никто. Видит то, что она прячет даже от себя. И почему-то — единственный мужчина на свете — не пытается сломать. Это пугает её больше всего. Потому что сломанное не болит. А вот то, что начинает срастаться — болит невыносимо. Некоторые раны опаснее пуль. Некоторые враги ближе, чем кажутся. А некоторые мёртвые цели — единственные живые люди в твоей жизни.

© Kleiman N., 2026

© Автор, 2026

# Содержание

Глава 1. Нэт	5
Глава 2. Седой	13
Конец ознакомительного фрагмента.	20

# Natasha Kleiman

## Мёртвая цель

### Глава 1. Нэт

Петербург не спит. Он никогда не спит по-настоящему — только притворяется, натягивая на себя ноябрьскую темноту, как пьяница натягивает одеяло, бормоча, что уже всё, уже хватит, уже пора. Но под одеялом — бессонница, и город это знает.

Ночь здесь не бывает цельной — она рваная, с прорехами света. Где-то внизу шуршат шины по мокрому асфальту, где-то хлопает подъездная дверь, и эхом по двору расползается чужая ссора: приглушённая, неразборчивая, но с тем узнаваемым надрывом, который в Петербурге — как сырость: въедается в стены.

Три часа семнадцать минут ночи. Васильевский остров. Шестой этаж кирпичной сталинки, которая помнит блокаду и с тех пор ничему не удивляется. Дом стоял тяжело, как старик на костылях, упрямо держась за землю. Подъезд пах пылью, железом перил и старой краской, которая вечно слоится, как кожа после ожога. Лампочка на площадке моргала, будто тоже не могла уснуть, и каждый её сбой вытягивал из темноты углы, трещины, чужие тени — на долю секунды, не больше.

Квартира 48 — однокомнатная, съёмная, оплаченная наличными за три месяца вперёд. Хозяйка — алкоголичка семидесяти лет, живущая у сына в Мурманске. Соседи привыкли, что квартира пустует. Они и сейчас так думают.

Это «пустует» ощущалось даже в воздухе: как в помещениях, где давно никто не смеялся и не ругался по-настоящему, где нет бытового шума — телевизора, музыки, разговоров. Только редкое, сухое потрескивание батареи, да глухой, почти медицинский шорох ветра в щели окна.

Наташа Клейман сидела на полу, прислонившись спиной к стене. Голые стены — обои содраны предыдущим жильцом и не заменены, серая штукатурка в трещинах, как карта неизвестной страны. В одной трещине застрял крошечный кусок бумаги — то ли обрывок старой газеты, то ли часть объявления; Нэт замечала его каждый раз и каждый раз не трогала. Мелочь, которая подтверждала: это место не её, и не должно стать её.

Матрас на полу — тонкий, армейского типа, без простыни. Он слегка пружинил, как будто сопротивлялся телу, не принимая его, не давая расслабиться. Рядом лежала аккуратно сложенная тёмная толстовка — не «чтобы было тепло», а чтобы в любой момент можно было надеть и стать другим силуэтом, другой фигурой, другой женщиной.

Ноутбук на картонной коробке из-под микроволновки, которой здесь нет и никогда не было. Коробка была мягкой, местами продавленной, надписи на ней — как чужая шутка про комфорт: «быстрый разогрев», «удобство», «дом». Нэт не любила такие слова. Они были слишком тёплые, слишком липкие.

Чёрная спортивная сумка у двери — всегда собрана, всегда застёгнута, всегда готова.

Она стояла так, будто была отдельным персонажем комнаты: единственная вещь, которой здесь действительно принадлежало место. Сумка была не новая, с потёртыми краями и грубым замком, который не блестел — блеск привлекает взгляд. Нэт могла бы закрыть её на ощупь в полной темноте и услышать по щелчку — правильно ли сел язычок молнии. Это звучало как «да».

В сумке: два комплекта одежды, документы на три разных имени, девятнадцать тысяч евро в разных валютах, аптечка, нож «Бенчмейд» и «Глок-19» с двумя запасными магазинами. Всё, что ей нужно, чтобы исчезнуть за двадцать минут. Она засекала.

Иногда — нечасто, но всё же — она мысленно прогоняла эти двадцать минут, как репетицию: подняться без шума, не зацепить коробку, не стукнуть дверью, не оставить волос на подушке (подушки, конечно, не было), проверить замок, шаги по лестнице — не быстрые, не медленные, «как все», потом улица, поворот за угол, смена направления, пересечение света фонаря так, чтобы лицо оказалось в тени... И дальше — город, который проглотит. Петербург умел проглатывать людей. Особенно ночью.

Нэт — так знали её немногие, кому посчастливилось (или не посчастливилось) с ней работать. Не кличка, не позывной. Просто сокращение от имени, которое само по себе ненастоящее. «Наташа Клейман» — третья легенда за пять лет. Первая — Анна Шварц — сожжена вместе с квартирой в Праге, когда пришлось уходить через окно четвёртого этажа. Вторая — Марина Козлова — утоплена в Неве вместе с телефоном и сим-картой, когда один слишком любопытный полицейский начал задавать правильные вопросы.

Иногда она ловила себя на странной, почти бытовой мысли: будто эти имена — её бывшие соседки по коммуналке. Анна — молчаливая, с запахом дыма на пальцах. Марина — тяжёлая, мокрая, с речной тиной в волосах. Наташа — нынешняя, аккуратная, сухая, без лишних движений. Все они жили в одной голове, но не разговаривали. Так было безопаснее.

Настоящего имени Наташи Клейман не знал никто. Вообще никто. Она и сама иногда думала — помнит ли его? Помнит. Конечно, помнит. Оно лежит на самом дне, под всеми слоями, как монетка на дне колодца, и иногда, в самые тёмные часы — вот как сейчас — слабо поблёскивает. Но доставать его незачем. Монетка принадлежит девочке, которой больше нет.

Ей двадцать пять. При этом словосочетании — «двадцать пять лет» — обычно представляешь что-то лёгкое. Смех в кафе. Первую настоящую работу. Глупые свидания. Планы на жизнь, нарисованные размашисто, как детские рисунки, где солнце всегда в углу, а трава всегда зелёная.

У Нэт не было ничего из этого. Вместо кафе — конспиративные квартиры. Вместо работы — заказы. Вместо свиданий — досье на объекты. Вместо планов — сумка у двери.

И всё равно иногда — почти автоматически, как организм автоматически проверяет больное место — сознание пыталось подсунуть ей чужую картинку. Чашка кофе. Чей-то смех. Чей-то «ты где?». Чей-то тёплый голос в трубке. Она выталкивала это, как выталкивают воду из лёгких: резко, без сожаления. Нельзя позволять себе фантазии, если хочешь выжить.

Зато у неё была внешность, которая не вязалась ни с чем из вышеперечисленного.

Наташа Клейман была красива. Не просто красива — ослепительно, почти неправдоподобно. Тот тип внешности, от которого у людей замыкает что-то в голове, и они на секунду забывают, что хотели сказать.

Она знала это не по комплиментам — комплименты для неё звучали как шум, — а по паузам. По тому, как люди сбивались на полуслове. Как взгляд задерживался лишнюю долю секунды. Как пальцы чужих рук становились неловкими — у мужчин чаще, у женщин иначе: напряжённее, оценивающе. Красота была не подарком, а инструментом. И иногда — капканом, в который могли попасть оба.

Светлые волосы — не тёплый пшеничный и не выжженный пергидролем, а настоящий, холодный блонд, цвета зимнего утра, когда солнце едва касается снега. Волосы чуть ниже лопаток, обычно собранные в тугий хвост или небрежный узел — она не терпела, когда они мешали. Но когда распускала — а это случалось редко — они падали гладкой волной, и это было похоже на рекламу, только без фотошопа и без улыбки.

Сейчас волосы были убраны. Туго. Практично. На затылке чуть тянуло кожу — маленькая, ровная боль, которая помогала держать фокус. Нэт любила такие якоря: простые, телесные, не эмоциональные.

Глаза — голубые. Не васильковые, не серо-голубые, не «с зелёным ободком у зрачка». Просто голубые, чистые, как горное озеро, на которое смотришь и думаешь: красиво, но купаться не стоит. Слишком холодное. Слишком глубокое. Неизвестно, что на дне.

Лицо — это отдельная история. Тонкие, безупречно очерченные черты. Высокие скулы, прямой нос, чуть заострённый подбородок. Губы, которые в другой жизни рекламировали бы помаду — изогнутые, бледно-розовые, с едва заметной асимметрией: верхняя чуть тоньше нижней. Кожа светлая, почти фарфоровая, из тех, что мгновенно выдают усталость и синяки.

Усталость сейчас была. Не в глазах — в коже. В тонкой тени под нижними веками. В сухости губ, которые она машинально прикусила, слушая собственное дыхание. Дыхание было ровным. Это важно. Пока дыхание ровное — ты контролируешь тело. Пока контролируешь тело — мир не добрался до тебя.

Кукольная — так однажды сказал о ней Бруно, и Нэт посмотрела на него так, что он две недели общался с ней только по переписке. Но слово было точным, и это бесило. Потому что «кукольная» — это про хрупкость, про декоративность, про «посмотри, какая хорошенькая». А Нэт была хорошенькая так, как хорошенькая белая акула — безупречные линии, ни одного лишнего элемента, и абсолютная, бесспорная, немигающая опасность за стеклом этих голубых озёрных глаз.

Она знала, как выглядит. Использовала это, когда нужно. Мужчины смотрели — и видели фарфор, и думали, что фарфор бьётся. Они ошибались. Фарфор — это просто форма. Внутри — кевлар, сталь и ничего лишнего.

Тонкие руки с длинными пальцами — руки пианистки, говорил один из её ранних наставников. Он ошибся дважды: во-первых, она никогда не играла на пианино. Во-вторых, через полгода эти руки задушили его буферным шнуром, когда он решил, что «наставничество» включает в себя кое-что ещё.

В памяти это было не кино. Не драматическая сцена. Скорее — набор фактов, как в отчёте: давление на трахею, сопротивление, запах пота, звук, когда человек понимает, что воздух закончился. А потом — то самое чувство. Не жалость. Не ужас. Горячая, слепая, затапливающая волна, которой она не ожидала. Она ожидала ненависти — и получила что-то иное: чистую силу. Слишком чистую. Слишком приятную. И это было опаснее любого труп.

Она не любит вспоминать этот эпизод. Не потому что жалеет. А потому что это был первый раз, когда она убила не по заказу, а от себя. И чувство, которое она испытала — горячая, слепая, затапливающая волна — напугало её больше, чем сам факт смерти. С тех пор — контроль. Всегда контроль.

Нэт не курила. Не пила. Не принимала ничего, что могло затуманить восприятие. Её тело было инструментом — единственным, которому она доверяла — и она содержала его в идеальном состоянии. Бег каждое утро (шесть километров, не меньше, в любую погоду). Отжимания, планка, работа с ножом. Растяжка. Еда — функциональная, без удовольствия. Белок, овощи, вода. Иногда — чёрный чай, крепкий до горечи, единственная маленькая слабость, которую она себе позволяла.

На подоконнике стояла кружка. Дешёвая, белая, без рисунка. Она не была «её» — просто купленная в ближайшем магазине, потому что иногда горячая вода в руках напоминает телу, что оно ещё живое. В кружке давно остыл чай; на поверхности — тонкая плёнка, неприятная, как воспоминание. Нэт не допивала его: если что-то кажется неправильным, лучше не продолжать. Привычка распространялась на всё.

Не спала с мужчинами. Это не было принципом. Не было обетом. Не было демонстрацией. Это был инстинкт, вросший в нервную систему так глубоко, что она сама не всегда осознавала, как именно он работает. Просто тело знало: близость — опасность. Мужские руки — опасность. Чужое дыхание на коже — опасность. Закрытая комната, где кто-то сильнее тебя — опасность, опасность, опасность.

Ей было двенадцать. Подвал дядиного дома на окраине Воронежа. Бетонный пол. Лампочка без абажура. Запах сырости и чего-то сладковатого — потом она узнает, что это был дешёвый одеколон, и от этого запаха её будет тошнить всю оставшуюся жизнь.

Она не думает об этом. Никогда. Точка. Запрет, вбитый в сознание с той же безжалостной эффективностью, с которой она потом научилась вбивать пули в цели. Есть дверь. Дверь заперта. За дверью — комната, в которой живёт двенадцатилетняя девочка, и стены этой комнаты покрыты вещами, от которых взрослая Нэт убила бы (и убивала) не задумываясь. Дверь заперта. Дверь всегда заперта.

Но иногда — ночью, в тишине, когда город притворяется спящим — дверь скрипит. Не открывается, нет. Просто напоминает, что она есть. Что за ней что-то живое. Что-то, что не умерло, как бы Нэт этого ни хотела.

Днём — дневник наблюдений, сухие строчки о маршрутах и графиках. Но между строк — если знать, куда смотреть — иногда проскальзывало:

«Опять этот сон. Подвал. Руки. Запах сырости. Проснулась с ножом в руке. Нормально. Рабочее состояние.»

Нормально. Рабочее состояние. Она повторяла это как мантру.

И сейчас, сидя на полу, она тоже держалась за мантру, как за поручень в дрожащем вагоне. Её нож лежал под матрасом, но рука всё равно помнила его форму — ладонь как будто чувствовала холодную рукоять, даже когда пальцы были пустыми.

Нэт смотрела на экран ноутбука, не мигая. Голубой свет мониторил карту города — маршруты, метки, временные коды. Обычная работа. Рутинная.

Карта была открыта так, как она любила: минимум лишнего. Никаких красивых слоёв, никаких «достопримечательностей». Только узлы и связи. Улицы как сосуды. Перекрёстки как клапаны. Камеры как глаза. Двери как возможные рты, которые могут тебя выплюнуть или проглотить.

Она жила так уже семь лет. Семь лет — тринадцать подтверждённых заказов (были и неподтверждённые, но о них знала только она). Тринадцать человек, которые были — и перестали быть. Бизнесмены, криминальные авторитеты, один политик из Восточной Европы, один дипломат (это было сложно), один — просто муж, который бил жену, и жена нашла деньги (это было легко и почти приятно, хотя Нэт в этом никогда бы не призналась).

Иногда — совсем мельком — она пыталась сложить эти смерти в какую-то моральную структуру. Как люди любят: «эти заслужили, эти нет». Но это было детское. Реальность была проще и холоднее: заказ — это задача. Выполнение — это выживание. Всё остальное — лишнее, а лишнее мешает.

В профессиональных кругах о ней знали мало, и это было преимуществом. «Нэт» — женщина, молодая, работает одна, берёт дорого, не торгуется, не оставляет следов. Никто не знал, как она выглядит — а те, кто видел, обычно не успевали запомнить.

Она никогда не работала в команде. Не использовала напарников, подстраховку, водителей. Одна — от начала до конца. Так безопаснее. Так тише. Каждый человек рядом — это переменная, которую нельзя контролировать, а Нэт не терпела переменных.

Единственным контактом с внешним миром был Бруно. Бруно — посредник. Итальянец, шестьдесят два года, бывший оперативник итальянской военной разведки SISMI, теперь — брокер заказных убийств, работающий из Цюриха. Маленький, лысый, с руками ювелира и голосом бухгалтера. Они никогда не встречались лично (это правило Нэт, не его). Общались через зашифрованный мессенджер и одноразовые номера.

Бруно находил заказы. Нэт исполняла. Бруно получал пятнадцать процентов. Всё.

Иногда он пытался говорить с ней «по-человечески» — спрашивал, как дела, как погода в Петербурге, не хочет ли она взять отпуск. Нэт отвечала односложно, и Бруно отступал — он был достаточно умён, чтобы не путать рабочие отношения с дружбой. Да и дружбы у Нэт не

было. Она не знала, что это такое. Знала определение — но определение и ощущение — разные вещи. Она знала определение «безопасности» тоже. И «дома». И «любви». Слова. Просто слова.

В двадцать пять лет Наташа Клейман была совершенным механизмом уничтожения в оболочке фарфоровой куклы.

Она садилась только спиной к стене. В любом помещении — первое, что она отмечала: выходы, окна, расстояние до двери, количество людей, кто вооружён, кто пьян, кто нервничает. Это не было паранойей. Это было дыханием — таким же автоматическим, таким же необходимым.

Сейчас она тоже отмечала. Дверь — слева, два шага. Окно — напротив, шестой этаж, но пожарная лестница на углу здания — возможно. Пол — скрипит в двух местах, нужно помнить. Сосед сверху — ходит во сне, иногда в три ночи у него падает что-то тяжёлое. Сегодня — тихо. Значит, если будет звук — он будет чужим. Это успокаивало. По-своему.

Она никогда не ходила по центру тротуара — только у стен. Никогда не поворачивалась спиной к незнакомцам. Никогда не входила в лифт с мужчиной. Если мужчина на улице шёл за ней больше двух кварталов — она менял маршрут. Если он менял маршрут следом — она растворялась. Если не растворялась — что ж, у неё был «Бенчмейд» и навыки, которые позволяли вскрыть сонную артерию за 0.8 секунды.

Всё это она делала автоматически, не задумываясь, не объясняя. Если бы кто-то спросил — «Ты боишься мужчин?» — она бы посмотрела этим своим взглядом, от которого хотелось отступить на шаг, и сказала бы что-нибудь вроде:

— Я не боюсь. Я аккуратна. Это разные вещи.

И это была бы ложь. Первая и единственная категория лжи, которую Нэт позволяла себе. Во всём остальном она была прямолинейна до жестокости — не потому что верила в честность, а потому что ложь требует энергии, а энергия — ресурс. Зачем тратить ресурс на то, чтобы нравиться людям, которые тебе безразличны?

В результате Нэт была тем, кого в обычной жизни называют стервой, — и это было бы чудовищным упрощением. Стервозность предполагает игру, кокетство, расчётливую колкость. Нэт не играла. Она просто не фильтровала. Говорила то, что думала, в тот момент, когда думала, тем голосом — ровным, прохладным, чуть низковатым для такого хрупкого лица — который не оставлял пространства для интерпретаций.

— У тебя плохой план, — могла она сказать Бруно. — Слишком много переменных. Либо упрощай, либо ищи другого исполнителя.

Не «мне кажется». Не «возможно». Не «давай обсудим». Приговор, вынесенный за три секунды, обжалованию не подлежит.

Люди — те немногие, с кем она пересекалась — реагировали предсказуемо. Мужчины видели кукольное лицо и ждали мягкости. Получали арктический фронт. Одни злились. Другие, что хуже, воспринимали как вызов — есть такой тип мужчин, которые уверены, что холодная женщина — это просто женщина, которую «недогрели». Нэт не грела и не грелась. Она была тем, чем была: идеально функционирующей системой с одной задачей — выжить.

Но иногда — иногда — в три часа ночи, когда город притворялся, а стены квартиры смыкались чуть теснее, чем днём — что-то проскальзывало. Не слабость. Не страх. Что-то горячее.

Она могла случайно задержать взгляд на паре, целующейся под фонарём — на полсекунды дольше, чем нужно. Могла тронуть кончиками пальцев корешок книги в магазине — не чтобы купить, а просто чтобы почувствовать текстуру. Могла, слушая музыку через наушники (редко, очень редко, только когда была уверена в безопасности), закрыть глаза и позволить чему-то внутри — чему-то, что она давно запретила и заперла — дрогнуть.

И от этого дрожания становилось злее. Потому что дрожь означала: внутри всё ещё есть что-то живое. А живое — уязвимо. Уязвимость — роскошь, которую она себе не позволяла. Но и мёртвой быть до конца — тоже не получалось. Это было похоже на постоянный внутренний спор, в котором она всегда выигрывала — и каждый раз проигрывала.

В эти моменты Наташа Клейман, двадцать пять лет, тринадцать подтверждённых ликвидаций, холодная как балтийский ветер — становилась на мгновение тем, чем была на самом деле: живым человеком с выжженной дырой в груди, которая когда-то имела форму нормальной жизни.

Потом мгновение проходило. Глаза открывались. Голубые, чистые, непроницаемые. Лёд возвращался на место. Дверь захлопывалась. Рабочее состояние.

Три часа двадцать две минуты. Ноутбук мигнул. Зашифрованный мессенджер. Иконка Бруно. Нэт не шевельнулась — только глаза переместились, как у кошки, услышавшей мышшь.

Секунда — оценка. Ещё секунда — проверка: сеть, VPN, отсутствие лишних процессов. Она не доверяла технике до конца; техника ломается, людей ломают. Только привычки не ломаются — их можно лишь заменить более жёсткими.

Открыла сообщение. Голосовое. Бруно предпочитал голосовые — «текст можно неправильно прочитать, а голос не врёт», говорил он. Нэт считала это сентиментальной чушью, но не спорила.

Она чуть убавила яркость экрана — не потому что кто-то увидит, а потому что слишком яркий свет утомляет глаза. Мелочь. Но мелочи — это то, на чём держится контроль.

Голос Бруно — спокойный, мягкий, с лёгким итальянским акцентом, который он не пытался скрывать:

— Buonasera, Нэт. Не разбудил?

Пауза. Он знал, что она не спит. Это была ритуальная вежливость — единственная форма близости, которую она допускала.

— Есть работа. Большая. Очень большая. Настолько большая, что я дважды проверил источник, прежде чем звонить тебе.

Нэт слушала, не двигаясь. Спина прямая, затылок прижат к стене. В окне — фонарь, который мигал каждые тринадцать секунд (она считала — профессиональная привычка, как дыхание). Этот ритм подхватывал мысли и укладывал их в порядок: раз — вход. два — выход. раз — цель. два — отход.

— Цель — человек, которого в определённых кругах называют «Седой». Настоящего имени не знает никто — и я имею в виду никто, Нэт. Я двадцать лет в бизнесе, у меня контакты от Неаполя до Владивостока, и я не смог найти даже слуха о том, как его зовут.

Бруно сделал паузу. Нэт знала этот приём — он давал информации осесть, как осадок в бокале вина.

— Криминальный мир Восточной Европы. Оружие, банки, контрабанда, сети влияния. Седой — не просто игрок. Он — архитектор. Человек, который строит системы. Половина криминальных операций в регионе так или иначе проходит через его структуры, но доказать это невозможно, потому что он не оставляет подписи.

Её пальцы едва заметно сжались — не в кулак, а так, словно она проверяла, что руки всё ещё подчиняются. Архитектор. Системы. Это слово было почти... вкусным. Системы можно читать. Системы оставляют закономерности. Закономерности — это дверь. Любая система — это дверь, даже если её сделали из бетона.

— Лицо? — спросила Нэт. Первое слово за ночь. Голос — ровный, прохладный, чуть хриловатый после долгого молчания.

— Нет. Ни одной фотографии. Ни одного описания. Люди, которые с ним работают, подписывают соглашения о неразглашении, которые... скажем так, подкреплены не юридическими санкциями.

Нэт поняла. Смерть — лучший NDA.

— Почему я? — спросила она.

Бруно помолчал. Когда заговорил — голос был чуть тише:

— Потому что до тебя отправляли четверых. Лучших из тех, кого я знаю. Профессионалов с двадцатилетним опытом, военным прошлым, всем набором.

Пауза.

— Ни один не вернулся, Нэт. Ни один. Ни тел, ни сообщений, ни следов. Как будто их никогда не существовало.

Тишина. Фонарь за окном мигнул. Раз. Два. Тринадцать секунд.

Нэт смотрела на экран. Голубые глаза не мигали. Мозг уже работал — прокручивал варианты, риски, маршруты. Четыре профессионала. Исчезли. Это значит — у цели не просто охрана. У цели система.

Система — это интересно.

Систему можно понять.

Понять — значит найти слабое место.

Найти слабое место — значит войти.

И всё же где-то на заднем плане — не эмоция даже, а физиология — прошёл тонкий холодок, как сквозняк по позвоночнику. Не страх. Скорее сигнал: впервые за долгое время — действительно опасно. Опаснее, чем обычно. А «обычно» и так было смертельно.

— Сумма? — спросила Нэт.

Бруно назвал цифру. Шесть нулей. Нэт даже не моргнула.

Она не улыбнулась. Не удивилась. Внутри только сдвинулись приоритеты: это не «деньги». Это «значимость». Это «уровень защиты». Это «уровень риска». Большие суммы всегда означают одно: кто-то отчаянно хочет, чтобы цель исчезла, и кто-то другой отчаянно не хочет этого допустить.

— Семь, — сказала она. — Семь нулей. Половина — авансом, до начала работы. Вторая половина — по факту подтверждения. И я работаю одна. Без кураторов, без контактных лиц, без «группы поддержки». Только я и цель.

— Нэт...

— Это не обсуждение, Бруно. Это условия.

Тишина. Нэт слышала, как Бруно думает — почти физически, как шорох старых шестерёнок.

— Я передам, — сказал он наконец. — Но, Нэт...

— Что?

— Будь осторожна. Я серьёзно. Я знаю, ты не любишь, когда я это говорю. Но четыре человека, и не последних — это не совпадение. Это отбор.

Слово «отбор» зацепилось за воздух и повисло. Как ярлык. Как предупреждение, которое не отменить.

Нэт выключила запись. Экран погас. Она сидела в темноте, спиной к стене, и слушала, как Петербург притворяется спящим. Фонарь мигал. Раз. Два. Тринадцать секунд.

Снаружи проехала машина — редкий звук в такое время. Шины прошипели по лужам. Где-то далеко взвыла сирена — коротко, лениво, как будто сама не верила в необходимость. И снова — тишина, из которой можно лепить что угодно.

Двадцать пять лет. Тринадцать заказов. Одна сумка у двери. Наташа Клейман — а может, не Наташа, и не Клейман, и не тот человек, за которого себя выдаёт — закрыла глаза.

Не для того чтобы спать. Сон придёт позже — короткий, чуткий, с ножом под матрасом. Сейчас она делала то, что делала всегда перед началом охоты: обнуляла себя. Убирала лишнее. Эмоции, сомнения, воспоминания, тот тихий голос на дне, который иногда шептал: а если бы всё было иначе?

Она представила это как привычное действие: будто смахивает со стола крошки ладонью. Тёплые мысли — в сторону. Жалость — в сторону. Любопытство — оставить только рабочее, только полезное. Седой. Архитектор. Четверо исчезнувших. Семь нулей. Система.

Голос замолчал. Осталась только Нэт. Чистая функция. Голубые глаза, белые волосы, фарфоровое лицо, и за ним — ничего, кроме цели.

Она открыла глаза.

Начала работать.

## Глава 2. Седой

В мире есть люди, которых боятся. Есть те, кого ненавидят. Есть те, кого уважают — вынужденно, стиснув зубы, потому что альтернатива уважению слишком дорого обходится. А есть Дмитрий Вернов. Его не боялись — потому что для страха нужно знать, кого бояться. Его не ненавидели — потому что для ненависти нужно лицо, в которое можно плюнуть. Его не уважали — потому что уважение предполагает какую-то форму равенства, а с «Седым» никто никогда не стоял на одной ступени. Его знали. Как знают погоду. Как знают гравитацию. Как знают, что за ночью будет утро, а за предательством — смерть. Седой был частью ландшафта — невидимой, неосязаемой, но абсолютно реальной силой, которая определяла, какие реки текут, а какие — пересыхают. Сорок три года. Хотя этого тоже никто не знал наверняка — возраст, как и всё остальное, был спрятан за стеной из молчания, фальшивых документов и мёртвых свидетелей. Дмитрий Вернов родился в Ленинграде — в городе, который ещё не успел снова стать Петербургом. Октябрь 1981 года. Роддом на Васильевском острове — том самом, где через сорок с лишним лет девушка с кукольным лицом будет сидеть в пустой квартире, принимая заказ на его убийство. Мир любит такие совпадения, хотя Дмитрий в совпадения не верил. Он верил в закономерности — а это совсем другое. Он всегда искал правило. Не смысл — смысл слишком человеческий и потому ненадёжный. Правило — как геометрия: если знаешь углы и длины, можешь построить фигуру. Если знаешь мотивы и ресурсы, можешь построить войну. Или избежать её. Отец — Вернов Андрей Михайлович, военный инженер. Мать — Вернова Елена Сергеевна, преподаватель музыки. Обычная советская интеллигенция: книги на полках, пианино в углу, разговоры на кухне шёпотом, потому что стены тонкие, а соседи — внимательные. Дмитрий помнил звук этого пианино так же ясно, как помнил запах сырого подъезда, где они жили. Ноты «Лунной сонаты», сыгранные матерью с ошибками — она смеялась, когда ошибалась, и начинала заново. В тот период он ещё верил, что ошибки можно исправить простым повтором. Потом мир отучил. Дмитрий был старшим ребёнком. Кира — младшая — появилась, когда ему было пятнадцать. Поздний ребёнок, нечаянная радость, маленькое существо с огромными глазами и абсолютным доверием ко всему миру. Дмитрий помнил, как впервые взял её на руки — крошечную, невесомую, пахнущую молоком и чем-то неуловимо чистым — и почувствовал то, для чего у него тогда не было слов. Сейчас он знал, что это было: ответственность. Не абстрактная, не социальная. Физическая. Как вес — давит на плечи, и ты либо несёшь, либо ломаешься. Дмитрий нёс. Он нёс так долго, что в какой-то момент перестал замечать, что вообще держит груз. Это становилось привычкой — такой же, как дышать. Такая же, как оценивать людей по первому движению руки, по паузе перед ответом, по тому, насколько уверенно человек занимает пространство. Родители погибли, когда ему было двадцать, а Кире — пять. Автокатастрофа на трассе между Петербургом и Выборгом. Декабрь. Гололёд. Фура, вылетевшая на встречную полосу. Мать умерла на месте. Отец — в больнице, через четыре дня, не приходя в сознание. В этой истории не было злодея, которого можно наказывать. Только физика: масса, скорость, лёд. И это было хуже любого преступления. Преступление можно отомстить. Случайность — нет. Дмитрий узнал об этом на лекции в университете — он учился на юридическом, третий курс, один из лучших студентов потока. В аудитории пахло мокрыми куртками и дешёвым кофе из автомата. Преподаватель говорил что-то про обязательства сторон, про волю и согласие — слова, которые в тот день звучали издевательски пусто. Ему позвонила соседка — та самая, с тонкими стенами — и сказала: «Димочка, ты приезжай. Тут Кирочка плачет, а я не знаю, что ей говорить». Он помнил, как поднялся. Как собрал тетради — не потому что нужно, а потому что руки должны что-то делать. Как шёл по коридору, где лампы мерцали. Как на улице мороз ударил в лицо, и это было даже приятно: холод объясним. Холод честный. Он приехал. Сказал Кире правду — не всю, но достаточно.

Кира плакала. Он нет. Не потому что не хотел — потому что некогда. Плакать — это роскошь, а роскоши у двадцатилетнего студента с пятилетней сестрой на руках не было. Он помнил её взгляд — снизу вверх, мокрый, отчаянно доверчивый. В этом взгляде было требование, без слов: сделай так, чтобы мир снова стал нормальным. Он тогда впервые понял, что нормальность — не состояние. Нормальность — продукт труда. Иногда грязного. Не было денег. Не было родственников — отец был единственным ребёнком, мать поссорилась с семьёй двадцать лет назад. Не было плана — только девочка, которая смотрела на него снизу вверх и ждала, что он скажет: «Всё будет хорошо». Он сказал. И начал делать так, чтобы это стало правдой. Университет он не бросил — закончил экстерном, с красным дипломом, параллельно работая: днём — помощник юриста в конторе, которая занималась корпоративным правом, ночью — разгрузка фур на складе в промзоне. Четыре часа сна. Иногда — три. Иногда — ноль. Тело тогда работало на злости и кофеине. Но главное — на ритме. Ритм заменял чувства. Пока ты считаешь часы, смены, суммы и списки покупок, у тебя нет времени думать о пустом месте за столом, где раньше сидела мать. Кира ходила в садик. Потом — в школу. Дмитрий готовил завтраки, проверял уроки, водил к врачу, покупал платья на утренники. Он делал это с той же методичной точностью, с которой позже будет строить криминальную империю — потому что для него не существовало разницы между «важным» и «неважным». Всё, что касалось Киры, было абсолютным приоритетом. Он помнил, как учился завязывать ей банты, проклиная собственные пальцы за неуклюжесть. Помнил, как стоял в школьном коридоре на родительском собрании среди женщин в пуховиках и мужиков с усталым лицом, и чувствовал себя чужим: слишком молодым для этого, слишком старым внутри — уже тогда. Она росла весёлой, открытой, бесстрашной. Он — закрывался. Не от неё — от всего остального. Мир, который убил его родителей нелепой случайностью на обледенелой трассе, не заслуживал доверия. Мир, в котором двадцатилетний парень должен выбирать между едой для сестры и учебниками — не заслуживал мягкости. Дмитрий Вернов к двадцати пяти годам был закрытым, жёстким, умным — и очень, очень злым. Не той горячей злостью, которая выплёскивается криком и ударами. Холодной. Стратегической. Злостью человека, который понял правила — и решил играть лучше всех. Криминал нашёл его сам. Юридическая контора, где он работал, обслуживала не только «белый» бизнес. Среди клиентов были люди, которые платили наличными, говорили шёпотом и никогда не оставляли настоящих адресов. Дмитрий видел это. Молчал. Делал свою работу — и делал её лучше, чем кто-либо. Он очень рано понял: люди не покупают закон — они покупают уверенность. И он продавал им именно это. Не улыбкой. Не обещаниями. Результатом. Люди привыкали к тому, что с Верновым «всё решается». В двадцать четыре его заметил Григорий Астахов — средней руки криминальный авторитет, который искал толкового юриста для «деликатных вопросов». Дмитрий согласился. Не из жадности — из расчёта. Деньги Астахова были грязными, но их было достаточно, чтобы Кира ходила в хорошую школу, жила в нормальной квартире, и никогда — никогда — не знала, откуда берутся купюры в конверте на холодильнике. Он помнил этот конверт. Он всегда лежал в одном месте — не на виду, но и не спрятан. Это была не мера безопасности. Это была мера контроля: если деньги лежат там, значит, жизнь всё ещё управляемая. Дмитрий начал с юридического прикрытия. Через два года — управлял финансовыми потоками. Через пять — знал структуру изнутри лучше, чем сам Астахов. Через семь — Астахов был мёртв (инсульт, официально; никто не задавал вопросов), а Дмитрий Вернов контролировал всё — тихо, без объявлений, без коронаций, без единого выстрела. В этом и заключалась его особенность: он не был человеком насилия по темпераменту. Он был человеком порядка. Насилие — просто инструмент поддержания порядка, когда переговоры заканчиваются. Он не отнимал — замещал. Не разрушал — перестраивал. Каждый элемент криминальной структуры Астахова был разобран, проанализирован и собран заново — чище, эффективнее, невидимее. Так родился «Седой». Прозвище дали не подчинённые — они бы не посмели. Дали конкуренты — те, кто начал замечать, что за исчезновением

Астахова, за перестройкой маршрутов, за новыми правилами игры стоит один человек. Они не знали его имени. Не знали лица. Знали только, что он молод, но уже седина на висках — кто-то обронил это на одной из встреч, и прозвище прилипло. Ранняя седина — от отца. У Андрея Михайловича она появилась в двадцать пять. У Дмитрия — в двадцать два. Серебряные нити на висках, потом — широкие полосы, как мазки кистью. К сорока трём волосы были тёмными с заметной сединой, и он не красил — не видел смысла. Седина была честной. Единственное в его жизни, что было абсолютно честным. Сейчас — ноябрь того же года, когда Нэт получила заказ. Только не Петербург, а Вена. Дмитрий Вернов стоял у окна в номере отеля «Sacher», и смотрел на площадь Альбертинаплац внизу. Четыре утра. Площадь пуста — только дворник в оранжевом жилете и бездомный, спящий на скамейке под памятником жертвам войны и фашизма. Дворник обходил бездомного по дуге, не решаясь разбудить. Окно было чуть приоткрыто — на ширину пальца. Не для воздуха: воздух в Вене был сухой, почти сладкий после петербургской сырости. Скорее для звука. Дмитрий любил слышать город — как другие любят включать музыку. Звук площади давал ощущение масштаба: мир продолжается независимо от того, сколько решений ты принял сегодня. Номер стоил неприлично дорого и выглядел так, как должны выглядеть места, где люди пытаются купить себе чувство безопасности: плотные шторы, ковёр с узором, в котором терялся взгляд, мягкий свет настольных ламп, мебель, отполированная до спокойного блеска. Удобство, рассчитанное на то, чтобы человек расслабился. Дмитрий не расслаблялся. Дмитрий тоже не спал. Это не было для него чем-то необычным — он спал мало и привык. Четыре-пять часов, редко больше. Мозг отказывался выключаться полностью — всегда оставался фоновый процесс, перебирающий данные, связи, риски. Даже во сне Дмитрий думал — и просыпался с готовыми решениями. Это было полезно. И это было невыносимо. Потому что мозг, который не умеет останавливаться, рано или поздно начинает думать о вещах, о которых думать не нужно. О тишине пустой квартиры. О том, что последняя женщина, к которой он прикасался, была два года назад — и это была функция, не близость. О том, что Кира зовёт его «робот» — шутя, с любовью, но с той ноткой грусти, которую он слышит, даже когда она думает, что спрятала. О том, что ему сорок три года, и он устал. Не физически. Не профессионально. Экзистенциально — если это слово применимо к человеку, который управляет империей из тени и может позвонить одним звонком, чтобы решить чью-то судьбу. Устал от пустоты. Но это — на дне, глубоко, за стенами, которые толще и крепче, чем у Нэт. Потому что Нэт строила стены от страха, а Дмитрий — от понимания. Он знал, что мир устроен определённым образом. Знал, что люди предают, деньги кончаются, а доверие — валюта, которую подделывают чаще всего. Он не злился на это. Просто учитывал. Телефон на столе завибрировал. Один короткий импульс — сообщение от Марка. Телефон лежал идеально ровно, как всё в его пространстве: экран вверх, без звука, только вибрация. Дмитрий терпеть не мог мелодии звонка — они были слишком «личными», слишком похожими на приглашение. А в его мире никто никого не приглашает. Только требует. Марк Дениэлс — начальник безопасности. Бывший оперативник М16, сорок девять лет, валлиец, с лицом школьного учителя и навыками, которые этому лицу категорически противоречили. Марк работал на Дмитрия одиннадцать лет — и был одним из семи человек на планете, знавших его настоящее имя. Сообщение — короткое, зашифрованное: «Перехвачен новый заказ на вас. Источник: Цюрих. Посредник: Бруно Кассини. Исполнитель: женщина, позывной «Нэт». Данные собираю.» Дмитрий прочитал. Не изменился в лице — да и некому было отмечать изменения. Он стоял один, в темноте номера за две тысячи евро в сутки, и единственным свидетелем был дворник внизу, который наконец решился разбудить бездомного. Новый заказ. Пятый за двадцать лет. Первые четыре закончились одинаково: исполнители были перехвачены, допрошены и устранены. Тихо. Без следов. Дмитрий не получал удовольствия от этого — но и не испытывал сожаления. Они пришли убить его. Он защитился. Арифметика. Но этот заказ — другой. Дмитрий чувствовал это тем инстинктом, который не имел отношения к логике и который он поэтому особенно ценил.

л. Он не суетился — никогда. Даже внутри. Но где-то глубже, чем мысли, что-то щёлкнуло, как в хорошем замке: новая комбинация. Женщина. Одиночка. Кассини. И — самое важное — «перехвачен», а не «поступил через наши каналы». Значит, кто-то работает аккуратно. Значит, заказчик не хочет светиться даже перед теми, кто обычно светится. Женщина. Одиночка. Позывной — «Нэт». Бруно Кассини — посредник, которого Дмитрий знал по репутации: осторожный, профессиональный, не берёт дилетантов. Четверо профессионалов с военным опытом не смогли до него добраться. А Кассини ставит на женщину-одиночку двадцати пяти лет. Либо Кассини сошёл с ума. Либо эта женщина — что-то особенное. Дмитрий набрал ответ: «Не перехватывать. Наблюдать. Докладывать каждые 48 часов. Если доберётся до второго кольца — сообщить немедленно.» Он нажал «отправить» и лишь после этого позволил себе на секунду закрыть глаза. Не усталость — привычка: короткая пауза, чтобы внутри выстроилось решение и перестало фонить. Марк ответил через десять секунд: «Понял. Не нравится мне это.» Дмитрий усмехнулся. Едва заметно — одним уголком рта. Марку много что не нравилось. В этом и была его ценность. Дмитрий убрал телефон и вернулся к окну. Он думал о заказчике. Не об исполнителе — исполнитель, каким бы талантливым ни был, всего лишь инструмент. Важен тот, кто платит. Пять заказов за двадцать лет. Первые два — от конкурентов, давно мёртвых. Третий — от бывшего партнёра, которого Дмитрий вычислил за неделю. Четвёртый — от неизвестного, чей след оборвался в Гонконге. Пятый — снова неизвестный. И это раздражало. Раздражение у него проявлялось тихо: не криком, не движением. Лишь тем, что мысли становились острее, как нож, который точат без остановки. Он ненавидел неизвестность не эмоционально — профессионально. Неизвестность означала дырку в схеме. Дырка означала риск. Риск — угрозу Кире, даже если угроза не имела к ней прямого отношения. Дмитрий не любил неизвестных. Он строил свою жизнь — всю, от первого дня после гибели родителей — на знании. Знание — контроль. Контроль — безопасность. Безопасность — жизнь. Простая цепочка, каждое звено кованое, проверенное, не подводившее ни разу. И теперь кто-то лез в эту цепочку с отмычкой. Он сел в кресло. Кресло было мягким и дорогим, и от этого — подозрительным. Дмитрий сел так, как садятся люди, которые готовы встать в любой момент: спина прямая, ноги уверенно на полу. Не поза — настрой. Достал из ящика стола папку — бумажную, настоящую. Дмитрий не хранил критически важные данные в электронном виде. Бумагу нельзя взломать — можно только украсть, а украсть её из сейфа, к которому есть доступ у двух человек, значительно сложнее, чем взломать сервер. Папка была плотной, серой, без маркировки. Только небольшой штамп внутри — его собственный, понятный одному Марку и ему. Бумага пахла типографией и чем-то сухим, как архив. В папке — аналитические записки за последние полгода. Движения денег, смена маршрутов контрабанды, странные кадровые перестановки в смежных структурах. Что-то менялось. Тектонические плиты криминального мира сдвигались — медленно, почти неощутимо, но Дмитрий умел читать вибрации. Он перелистывал листы без спешки. Иногда задерживался на абзаце, как будто слушал чужую речь. В этих заметках не было эмоций — только цифры, даты, косвенные связи. И всё же для Дмитрия это было почти интимно: мир, разобранный на детали. Кто-то готовил большую игру. Заказ на него — лишь один из ходов. Вопрос: кто? Дмитрий закрыл папку. Потёр переносицу — привычка, оставшаяся с университетских времён, когда он засиживался за учебниками до рези в глазах. Он поймал себя на мысли, что устал не от работы, а от необходимости постоянно быть тем, кто знает больше всех. Это звучало бы смешно для любого постороннего. Но власть — это не праздник. Это бессонница. В мире было не так много людей, способных организовать заказ такого уровня и остаться невидимыми. Дмитрий знал большинство из них лично. С некоторыми — обедал. С некоторыми — вёл дела. Одному — помог похоронить жену. Любой из них мог. В этом и проблема. Он снова посмотрел на телефон. Перечитал сообщение Марка. «Исполнитель: женщина, позывной «Нэт».» Женщина. Дмитрий работал с женщинами — в бизнесе, в структуре, в аналитике. Он не был из тех мужчин, которые считают женщин слабее по опре-

делению — он видел достаточно, чтобы знать, что пол не определяет опасность. Мотивация определяет. И подготовка. Но женщина-киллер, работающая в одиночку, молодая, с послужным списком, который заставляет Кассини рискнуть, — это вызывало не опасение и не пренебрежение. Это вызывало интерес. Профессиональный. Холодный. Тот тип интереса, который учёный испытывает к редкому образцу — не желание обладать, а желание понять. Кто она? Что сделало её тем, кто она есть? Какая комбинация генов, травм, решений и случайностей создала человека, на которого ставят после четырёх провалов? Дмитрий поймал себя на этих мыслях и оборвал. Мягко, но решительно — как опытный хирург отсекает лишнее. Интерес — опасная вещь. Он отвлекает. А отвлечение в его мире стоит жизни. Шесть утра. Вена начинала просыпаться. Это было слышно ещё до того, как стало видно: редкий гул транспорта, шаги по мостовой, где-то — звон металла, когда кто-то открывает киоск. В отеле, едва уловимо, ожил коридор: щёлкнул замок соседнего номера, прошуршали колёса тележки. Дмитрий стоял перед зеркалом в ванной. Он делал это каждое утро — не из тщеславия, а из привычки: осмотр, как солдат осматривает оружие перед боем. Свет в ванной был честный — без уютной желтизны. Он вымывал тени, подчёркивал линии. Дмитрий не любил «мягкий» свет. Мягкость скрывает детали. Высокий — метр восемьдесят восемь. Широкоплечий, но без массивности — скорее, строение пловца или боксёра в тяжёлом весе: длинные руки, крепкий торс, ни грамма лишнего. Он поддерживал форму не тренажёрами — плавание, бокс, долгие прогулки. Тело было послушным и функциональным, и его это устраивало. Он провёл ладонью по щетине на подбородке — короткой, жёсткой. Бритва лежала рядом, но он не спешил: иногда лёгкая небрежность полезнее идеальности. Идеальность бросается в глаза. Лицо — жёсткое. Это было точное слово, не грубое, именно жёсткое. Резко очерченная челюсть, прямой нос, тонкие губы, которые, казалось, были созданы для того, чтобы сжиматься в линию. Морщины — не от возраста, от выражения: две глубокие складки у рта, вертикальная морщина между бровей. Лицо человека, который привык думать и привык решать — и которому обе эти привычки дорого обошлись. Глаза — серые. Не тёплые серые, не «стальные», как пишут в романах. Серые, как ноябрьский Петербург: влажные, холодные, с глубиной, которую невозможно измерить с первого взгляда. Или со второго. Или с десятого. Глаза, которые смотрели — не глядели, а именно смотрели: внимательно, цепко, с тем неуютным ощущением, будто тебя считают, как штрихкод. Седина — широкие полосы на висках, отдельные нити в остальных волосах. Он зачёсывал их назад, без укладки, просто рукой — привычка, отсутствие тщеславия, или, может быть, его единственная форма честности: вот я, такой, какой есть, и мне плевать на ваше впечатление. На левом плече — шрам. Ножевой, двадцатилетней давности. Первый и единственный раз, когда кто-то подобрался достаточно близко. Дмитрий не прятал шрам — но и не показывал. Он просто был — как седина, как морщины, как тихий голос, которым он говорил вещи, от которых людям хотелось выйти из комнаты. Он посмотрел на шрам без эмоций. Просто отметил: тело помнит. Ошибка была одна — и больше он её не повторил. В восемь утра — завтрак в номере. Кофе — чёрный, без сахара. Тост. Яйцо. Газета — бумажная, «Die Presse», на немецком. Дмитрий говорил на шести языках — не бегло, не «со словарём», а свободно: думал на них, видел сны, ругался. Русский, английский, немецкий, французский, сербский, итальянский. Каждый — выученный не ради образования, а ради выживания: новый язык — новый мир, в который можно войти и, если нужно, исчезнуть. Он ел как человек, который не получает удовольствия от еды. Это было топливо. Белок. Кофеин. Крошки тоста он стряхивал аккуратно — не из педантичности, а из внутреннего правила: порядок на столе помогает держать порядок в голове. В девять — звонок Кире. Это был ритуал. Каждый день, в девять утра по московскому времени, если не было форс-мажора. Кира жила в Петербурге, работала терапевтом в частной клинике на Каменноостровском проспекте, носила фамилию матери — Леонова — и знала о брате достаточно, чтобы бояться, и недостаточно, чтобы ненавидеть. Когда он услышал её голос, внутри что-то сместилось — едва заметно, как меняется давление. Он никогда не

позволял себе думать об этом как о «тепле». Но это было оно. Она знала, что он «в бизнесе». Знала, что бизнес «не совсем легальный». Знала, что люди, которые иногда появляются рядом с ним — охрана, водители, «ассистенты» — не совсем те, за кого себя выдают. Но она не спрашивала. Не потому что было неинтересно — потому что ответ мог разрушить то единственное, что у них осталось.— Привет, робот, — сказала Кира. — Ты завтракал?— Завтракал.— Нормально завтракал или «кофе и тост»?— Кофе и тост — это нормальный завтрак.— Это завтрак человека, который ненавидит своё тело. Ты в Вене?— Да.— Сходи в кондитерскую «Demel». Там штрудель. Если ты не съешь штрудель в Вене, ты окончательно превратишься в робота, и я начну звать тебя по серийному номеру. Дмитрий улыбнулся. Не для неё — она не видела. Для себя. Кира была единственным человеком на планете, который мог вызвать у него эту реакцию — непровольную, неконтролируемую, настоящую.— Я подумаю над штруделем.— Не думай. Ешь. Ты слишком много думаешь. Это твоя главная проблема. Она была права. Но он не собирался ей об этом говорить. Повесив трубку, Дмитрий долго стоял с телефоном в руке. Он смотрел на чёрный экран — своё отражение в нём было слабым, размытым. Ему пришло в голову, что он всю жизнь предпочитал именно такие отражения: не слишком чёткие, не слишком правдивые. Кира. Двадцать восемь лет. Тёплая, открытая, смешливая — всё, чем он не был. Иногда он смотрел на неё и думал: как? Как из того же горя, из той же потери, из тех же ночей, когда пятилетняя девочка плакала, а двадцатилетний парень не знал, что делать — как из этого вырос свет? А потом понимал: потому что он закрыл её от тьмы. Принял тьму на себя. Всю. И то, что Кира могла смеяться, и лечить людей, и звонить ему каждое утро с требованием есть штрудель — было результатом. Его единственным результатом, которым он гордился. Всё остальное — империя, деньги, власть — было средством. Средством обеспечить Кире жизнь, в которой ей не нужно знать, как пахнет страх. И средством заполнить пустоту, которая образовалась на месте того, что могло бы быть его собственной жизнью — нормальной, обычной, с утренним кофе не в одиночестве и вечерами не за аналитическими записками. Но об этом — как и обо всём действительно важном — Дмитрий Вернов молчал. В десять утра — рабочее совещание. Закрытый зал в подвале отеля, арендованный через подставную компанию. Подвал был стерильный и тихий, как банковское хранилище: бетон, вентиляция, нейтральный запах кондиционированного воздуха. Там не было окон — и Дмитрий ценил это. Окна дают иллюзию свободы. В его деле иллюзии опасны. Четыре человека: Марк, финансовый аналитик Хан, логист Серёга (настоящее имя — Сергей Валентинович Торопов, бывший капитан ВДВ, единственный человек в команде Дмитрия, к которому он обращался на «ты»), и юрист Лиза — молодая, безжалостно умная женщина, которая могла найти лазейку в любом законе любой юрисдикции. На столе — вода в стекле, планшеты, одна-единственная бумажная карта (для Серёги, потому что Серёга верил рукам). Дмитрий сел во главе стола не демонстративно — просто так было логично: угол обзора максимальный, контроль максимальный. Тема совещания — маршруты контрабанды через балканский коридор. Рутинная. Но Дмитрий слушал вполуха. Мозг — тот самый, который не умел выключаться — крутил другое. «Нэт.» Он знал о ней пока почти ничего. Женщина. Одиночка. Молодая. Тринадцать заказов. Работает через Кассини. Этого было мало. И одновременно — слишком много. Тринадцать заказов в одиночку, без прикрытия, без команды, к двадцати пяти годам — это не карьера. Это приговор. Люди так не живут. Люди так выживают — на адреналине, на дисциплине, на чём-то, что сильнее инстинкта самосохранения. На боли, которая гонит вперёд, потому что остановиться — значит почувствовать. Дмитрий знал этот механизм. Изнутри. Потому что двадцать лет назад, стоя над гробами родителей с пятилетней сестрой на руках, он запустил тот же процесс: вперёд, не останавливаться, не чувствовать, контроль, контроль, контроль. Разница в том, что у него была Кира. Якорь. Причина. А у этой женщины — кто?— Дмитрий Андреевич? Голос Марка. Дмитрий поднял глаза. Четыре пары глаз смотрели на него. Он отметил: у Хана чуть напряжены плечи, у Лизы слишком ровное дыхание — значит, она ждёт конфликта, у Серёги взгляд уже

в режиме «задача». Марк — как всегда, спокойный снаружи, тревожный внутри. — Мы закончили по маршрутам, — сказал Марк нейтрально. — Вопрос по безопасности. Дмитрий кивнул. Марк вывел на экран файл. Скучный: оперативный псевдоним, несколько дат, статистика. И одна фотография — зернистая, снятая камерой наблюдения в аэропорту Праги. Женщина в толпе. Бейсболка, тёмные очки, рюкзак. Лица почти не видно. Но даже на этом смазанном снимке было что-то — линия шеи, поворот головы, что-то в осанке — что заставляло взгляд задержаться. Дмитрий смотрел на изображение чуть дольше, чем следовало бы. Не из любопытства — из привычки: искать паттерн там, где другим кажется «шум». На снимке был шум. Но в шуме угадывалась дисциплина. Отсутствие лишнего. Правильная дистанция до людей. Положение корпуса — готовность ускориться. — Это всё, что у нас есть, — сказал Марк. — «Нэт». Предположительно — гражданка России, хотя документы менялись минимум трижды. Работает одна. Специализация — проникновение и ближний контакт. Тринадцать подтверждённых ликвидаций. Стиль: тихо, чисто, без свидетелей. Дмитрий ощутил знакомую реакцию — не страх, нет. Скорее лёгкое оживление, как у шахматиста, когда противник неожиданно делает хороший ход. Это раздражает. И заставляет уважать игру. — Рекомендация? — спросил Дмитрий. — Перехват, — сказал Марк без колебаний. — Как предыдущих. Мы знаем маршрут Кассини, можем выйти на точку контакта за трое суток. — Нет. Марк моргнул. За одиннадцать лет Дмитрий отклонял его рекомендации дважды. Оба раза оказывался прав. — Нет? — переспросил Марк. — Она добьётся большего, чем предыдущие. Подпустим ближе. Тишина в комнате стала плотной. Серёга переглянулся с Лизой. Хан уставился в свои записи, словно там вдруг появилось спасение от ответственности. — С уважением, — начал Марк (а это означало, что уважения в следующей фразе будет очень мало), — вы предлагаете позволить подтверждённому киллеру приблизиться к вам на расстояние удара? — Я предлагаю позволить ей показать, кто её послал. Четыре предыдущих исполнителя были перехвачены слишком рано — мы получили посредников, но не заказчика. Цепочка обрывалась. Эта женщина работает иначе. Она выслеживает — значит, ей нужна информация, и она будет её искать. А искать — значит оставлять следы. Дмитрий говорил спокойно. Но внутри он уже выстраивал схему наблюдения: уровни доступа, ложные маршруты, «кормушки» информации. Если «Нэт» действительно охотник, она пойдёт на запах. И в этот запах можно подмешать маркеры. — А если она доберётся до вас раньше, чем мы доберёмся до заказчика? Дмитрий посмотрел на Марка тем взглядом — ровным, серым, безбрежно спокойным — от которого даже ветерану МПБ хотелось поправить галстук. — Тогда я буду иметь удовольствие познакомиться с ней лично. Слова прозвучали почти как шутка. Но шутки там не было. Было решение. И то, что Марку не нравилось, — не имело значения. Седой уважал профессионалов. Но не делегировал судьбу. Сопровождение закончилось. Люди разошлись. Дмитрий остался один. Некоторое время он сидел неподвижно, слушая, как в вентиляции шуршит воздух. Он любил этот звук: он напоминал, что пространство контролируется, что здесь нет «случайных» шумов. Он снова открыл файл. Посмотрел на фотографию. Женщина в аэропорту Праги. Тень вместо лица. Движение вместо покоя. Он не знал ещё, что через шесть месяцев эта женщина войдёт в его кабинет с пистолетом, и он почувствует запах пороха и чего-то ещё — чего-то холодного, чистого, как зимнее утро. Не знал, что её волосы будут того же цвета, что его седина — серебро и лёд. Не знал, что её глаза — голубые, невозможные, запёртые — будут единственными глазами, в которых он узнает то же самое, что видел каждое утро в зеркале. Пустоту. Заполненную контролем. Запечатанную дисциплиной. И такую огромную, что от неё хотелось отвернуться. Он закрыл файл. Допил кофе. Чёрный, без сахара. Посмотрел в окно. Вена просыпалась. Мир продолжался. Охота начиналась — только пока было неясно, кто охотник, а кто добыча. И Дмитрий Вернов — Седой, человек без лица, хозяин империи, построенной на крови и молчании — впервые за долгое время почувствовал то, что не мог объяснить логикой. Предчувствие. Не опасности. Не угрозы. Чего-то неизбежного.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.